

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 15

Борьба продолжается

В предыдущем письме Бахтиным от 20 февраля 1967 года В. Кожинов писал: "... Мы с Палиевским и Урновым будем готовить к изданию (договор уже есть) антологию "Эстетики русских славянофилов" – от Киреевского до Розанова". Замысел был поистине грандиозный и, к сожалению, тогда не реализованный. По свидетельству Д. М. Урнова, авторы чрезмерно затянули срок сдачи рукописи. Но, думается, что дело не только в этом. Сам по себе состав книги (куда, как мы помним, должен был войти и неопубликованный Павел Флоренский), явно не предполагал лёгкого "прохождения". Составителей начали "мытарить" в издательстве, снимая то одного, то другого автора, и, в конце концов, эта ценнейшая работа так и не была завершена (следующая несостоявшаяся попытка подобного издания была через десять с небольшим лет предпринята В. В. Кожинным, П. В. Палиевским и С. А. Небольсиным, но работа также не была – и по внешним, и по внутренним причинам – доведена до конца. В результате антология "Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века" вышла через много лет – в 1982 году – с другими составителями – В. Кантором и А. Осповатом – и в ином составе. Ни И. Киреевского, ни В. Розанова в книге не было, но наряду со статьями В. Белинского, А. Герцена и Н. Чернышевского в ней присутствовали работы К. и И. Аксаковых, С. Шевырёва, В. Майкова, А. Григорьева, А. Хомякова, Ю. Самарина, М. Каткова, А. Дружинина, В. Боткина.

Что касается попытки "пробить" нечто "объективное" в статье о Василии Розанове для "Краткой литературной энциклопедии", то у неё была своя история. Начиная с первого тома этого издания – в нём и в последующих – Кожинным были опубликованы теоретические статьи "Вымысел художественный", "Жанр литературный", "Историзм", "Коллизия", "Композиция", "Образ художественный", "Повесть", "Поэзия и проза", "Литература" (последняя статья – наравне со статьями других авторов – подверглась уничтожающему разгрому в "Октябре" в статье Ивана Астахова и Анатолия Волкова "В кривом зеркале литературной энциклопедии"). В одном из томов была помещён и литературный портрет самого Кожинова, принадлежащий перу его университетского друга Евгения Барышникова.

Статья о Розанове была написана, но не "прошла" в издание, и сейчас уже трудно сказать, снята она была редакцией или цензурой. Но мне думается,

что непосредственно руку к её снятию приложил редактор Николай Пантелеймонович Розин, которого “объективный” взгляд Кожина совершенно не устраивал. Розин написал свой портрет Розанова и опубликовал его в соответствующем томе.

Что касается курса лекций в Политехническом музее “Русские мыслители. От Иллариона до Флоренского”, — то здесь был своего рода демонстративный шаг: стремление занять чужую территорию и наполнить её своим содержанием. Территорию, освоенную “эстрадниками”, уже успевшими сложить ей не один гимн вроде “Прощания с Политехническим” Вознесенского... Впрочем, из этой затеи, целью которой было, на самом деле, просвещение молодых умов, также, увы, ничего не вышло. Заявка была рассмотрена дирекцией музея, но положительного ответа авторы не получили.

Что же касается статьи “о Гоголе и Чаадаеве”, то она была опубликована в “Вопросах литературы” под вполне невинным “академическим” заголовком: “К методологии истории русской литературы (О реализме 30-х годов XIX века)”. И если первая её часть, посвящённая фундаментальному опровержению “шестидесятнического” взгляда на наследие Чаадаева, вызвала у читающей публики что-то вроде ступора (это касается и маститых литературоведов), то часть вторая, в которой речь шла о гоголевских “Мёртвых душах”, вызвала в “академическом” (в частности, в “имлийском”) мире нешуточную ярость.

Потому что Кожин прочёл “Мёртвые души” так, как их давным-давно разучились читать, не говоря уже о том, что в качестве “инструмента прочтения” он использовал бахтинскую “призму”.

“Не будет преувеличением утверждать, — писал он, — что эта поэма — наименее понятая и освоенная из всех классических творений русского искусства слова... (Это о хрестоматийном, многократно описанном произведении, включённом во все школьные программы! — С. К.)” В чём же причина “непонимания”? “... Именно в момент выхода “Мёртвых душ” русская культура раскололась на два противоположных течения — славянофилов и западников, — и каждое из них, естественно, стремилось сделать своим знаменем творчество величайшего современного художника...” При этом “обе стороны хорошо сознавали, что их характеристика Гоголя недостаточно объективна, что есть правда и в суждениях противника. Но логика борьбы вынуждала отстаивать односторонние определения”.

Желавшие (а недостатка в них не было) могли прочесть (и прочли) этот и следующие пассажи из статьи Кожина как прямое отражение литературной борьбы в Советской России в 60-е годы XX века... Впрочем, гадать особо не приходилось: прямой текст был гораздо огнеопаснее предполагаемых или угадываемых намёков. Кожин начал анализировать работы Белинского, посвящённые Гоголю, — и портрет “неистового Виссариона” в его исполнении уже ничем не напоминал хрестоматийного “революционного демократа”.

“Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, — цитировал он письмо Белинского, адресованное Кавелину, — потому что не сообразили, для кого и для чего она писана. Дело в том, что писана она не для Вас, а для врагов... Всё, что Вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему, совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решу; это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от неё... Вы, юный друг мой, хороший учёный, но плохой политик...”

И Кожин, опираясь на переписку Белинского, рисует портрет литературного политика, который намеренно пишет не то, что думает, полемизируя по поводу “Мёртвых душ” с “врагом” — Константином Аксаковым.

“... В современных работах все суждения Белинского о Гоголе рассматриваются, как правило, в качестве выражения его истинной, объективной, последней позиции. Только так, например, могло сложиться представление, будто бы Белинский считал “Мёртвые души” сатирическим произведением и будто те, кто полагает и сегодня, что поэма Гоголя — сатира, следуют в этом отношении Белинскому”.

Но дело даже не в том, что “Белинский в разные периоды своего развития понимал сатиру различно”... Суть в том, что между его подлинной оценкой “Мёртвых душ” и оценкой славянофила Константина Аксакова нет реального противоречия. Более того — они сходятся в самом существенном.

“Если не обращать внимания на издержки полемики, оказывается, что Белинский и Аксаков, в конечном счёте, оба стремятся понять поэму Гоголя

как совершенно особенное — на фоне современной европейской литературы — явление. Оба они, в сущности, утверждают своего рода “ренессансную” природу искусства Гоголя. Причём речь идёт не о содержании и форме, а о самом акте творчества, то есть, в современной терминологии, о художественном методе. Это метод, родственный ренессансному реализму. Отсюда и возникает сопоставление с Шекспиром... и у Белинского — с Сервантесом...

... Ясно, что Шекспир и Сервантес глубоко родственны по характеру “акта творчества”. Но Белинский, безусловно, более прав, чем Аксаков и Григорьев, когда ставит Гоголя в один ряд с Сервантесом, у которого, как и у Гоголя, преобладает комическая стихия... Естественно вспомнить здесь и о Рабле, книгу которого сопоставляет с Гоголем М. Бахтин в своей диссертации “Ф. Рабле в истории реализма”... После исследования М. Бахтина неопровержимо ясно, что ренессансный смех Рабле, как и смех Сервантеса и Шекспира, — это особенная эстетическая стихия, качественно отличающаяся от комизма последующей западноевропейской литературы, от классицистической и просветительской сатиры, от романтической иронии, от юмора в реализме XIX века. И творчество Гоголя, в частности, его “Мёртвые души” — это не сатира, это искусство, близкое к искусству “ренессансного” типа...

Этому нисколько не противоречит тот факт, что Гоголь воссоздал в “Мёртвых душах”, прежде всего, “низменную”, “отрицательную” сторону русской жизни... Ибо, даже показывая Русь “с одного боку”, Гоголь в то же время раскрывает её в её неразложимой цельности. Поэтому и возможна та дерзкая свобода, с которой он вкладывает в уста Собакевича и Чичикова гимны богатырскому крестьянству и тесно связывает с сознанием Чичикова свою оду тройке...

Понятия сатиры, отрицания, осуждения никак не могут претендовать на определение целостной природы искусства Гоголя... И превращать Гоголя в “отрицателя” значит как раз и совершать недопустимое: разлагать его творчество и обособлять отдельные мотивы, которые вне целого просто теряют свой смысл...

Кожин нарушал здесь все “приличия”, выработавшиеся за многие десятилетия в советском литературоведении, причём делал это естественно и свободно, без малейшего намерения кого-то сознательно оскорбить или вытащить из кармана заранее приготовленную “фигу”. Он был настолько далёк от подобных посторонних соображений, что ничего близко похожего невозможно вычитать в его тексте — и это полностью лишало (даже формально) кого-либо намерения подойти к кожиновскому тексту с цензурными рогаками. И тем большее раздражение он вызывал у будущих оппонентов.

В этой работе — в определении творчества Гоголя как “ренессансного реализма” — уже было заложено начало пересмотра всей сетки литературных направлений в России XIX века, что будет развито и обосновано исследователем через несколько лет... Снятие с Гоголя клейма “сатирика” так и останется непонятым — очень немногие оказались способны услышать и вникнуть в логику кожиновских размышлений... Более того, здесь уже начался, как писал Кожин Бахтину, “выход” за пределы “национальных идеалов”. Ни один правоверный последователь славянофилов никогда не признал бы Белинского хоть в чём-то правым перед ними.

Но дальше — больше. Кожин подходил к решающим выводам.

“Национальная самокритика, воплощённая в поэме Гоголя, представляла собою не “отрицание” и сатирическое “разложение” русской жизни, а объективное раскрытие её “неразумного”, “дикого” состояния, при котором народная субстанция ещё дремлет, ещё не нашла себе ни осознания, ни сколько-нибудь определённой формы, хотя вместе с тем уже вышла из древнего “героического” века. Такое “состояние”, в сущности, и невозможно отрицать... Герои Гоголя не могут и не должны вызывать у непредвзятого читателя отвращения и негодования, подобных тем, какие вызывают, скажем, иные герои Щедрина. И горы разоблачений и обвинений, которые обрушены на этих героев во многих литературоведческих работах, подчас просто смешны... В обители Собакевича, в озорстве Ноздрёва, в “дремучести” Коробочки и даже в безудержной маниловской мечтательности и в беззаветном, не щадящем самого героя разгуле плюшкинской скупости воплощён тот же, по слову Белинского, “русский дух”, та же вольная бесшабашность и широта, которые

в иной, идеализированной форме воплотились в лирических отступлениях о дороге, о песне, о тройке...

Не менее замечательно и совпадение в самом заглавии “Мёртвые души” и названии города, из которого как бы посылаются “Философические письма”, — Некрополис (“Город мёртвых”). И в том, и в другом случае образ смерти, пользуясь термином М. Бахтина, амбивалентен; это несомненно, если мы будем исходить из целостного смысла чаадаевского и гоголевского творчества. Речь идёт о смерти, чреватой рождением, возрождением.

Так возрождаются мёртвые богатыри-мужики в разговоре Собакевича и в размышлениях Чичикова. Так именно эта ещё словно спящая мёртвым сном Россия, которая предстаёт в “Письмах” Чаадаева, призвана, по его словам, быть “совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества”.

И дело здесь не просто в личной перекличке создателя философических писем из Города мёртвых и творца поэмы о “мёртвых душах” — дело и в целом существе эпохи. Те же идеи и мотивы можно обнаружить и в творчестве Пушкина, Боратынского, Тютчева, Лермонтова, Одоевского и других виднейших художников и мыслителей 30-х годов.

По существу возразить Кожинovu не представлялось возможным, а очень ведь хотелось... Ну, никак нельзя было оставить за ним последнее слово о столь любимом нашими либералами Чаадаеве. И началось “уличение” в намеренно неточном цитировании.

Через полгода в “Вопросах литературы” появились две негодующие статьи. Одна из них с характерным названием “Сатирическое отрицание и отрицание сатиры” принадлежала Дмитрию Николаеву. Вторая — “Сомнительная методология” — Александру Дементьеву. Николаев “обиделся” за Гоголя, Дементьев — за Чаадаева.

Александр Григорьевич выступил, как самый настоящий начётчик. Он прочитывал Чаадаева буквально, обрывая цитаты на нужном ему месте (при этом пытался “уличать” в этом Кожинова). “Я думаю, что прогресс ещё невозможен у нас без апелляции к суду Европы...” — цитировал он послание Чаадаева к Сиркуру — и тут же останавливался: вот вам, пожалуйста, ну, разве это не западник?!

“А. Дементьев не раз упрекает меня в том, — отвечал ему Кожинov, — что я “свободно” обхожусь с цитатами. Скорее, этот же упрек можно переадресовать ему самому... Речь идёт всего лишь о том, что “западнически” настроенная “публика” сможет оценить русскую мысль (и мысль не кого-нибудь, а Хомякова!) только после того, как её оценят во Франции. В этом-то и состоит та апелляция к суду Европы, о которой говорит Чаадаев, а вовсе не в том, что самобытная русская мысль ещё не способна развиваться без “суда Европы”...”

История имеет обыкновение возвращаться на круги своей спирали. То, о чём писал Кожинov применительно к веку XIX-му, он собственными глазами видел во второй половине XX-го. Даже выход двух фундаментальных книг Бахтина не убедил большинство отечественных литературоведов (в том числе и многих сотрудников академического института) в мировом значении бахтинской мысли. И только когда Бахтина стали наперебой переводить на европейские языки, а за рубежом стали образовываться “бахтинские” школы — только тогда начало приходить понимание того, что рядом живёт великий современник, и только тогда по-настоящему начал оцениваться беззаветный кожиновский труд, приложенный к изданию этих книг.

“А. Дементьев, почитающий Чаадаева западником, — продолжал Кожинov, — даже не заметил, что в той самой цитате, которую он приводит... есть прямое опровержение его, А. Дементьева, позиции. Ибо Чаадаев недвусмысленно говорит здесь, что “освобождение” русской культуры наступит только в том случае, если мы сумеем “свергнуть иго вашей (то есть западной. — В. К.) культуры, вашего просвещения и авторитета и станем “истинно свободны от влияния чужеземных идей”. Мог ли так говорить западник, каким А. Дементьев тщится изобразить Чаадаева?”

Не раз и не два вернёт Кожинov Дементьеву его “уличения” в замалчиваниях и передрожках по принципу “не лучше ль на себя, кума, оборотиться?”... “Статья А. Дементьева, в сущности, сводится к спору вокруг ряда цитат из сочинений Чаадаева, Герцена, Белинского, которые автор пытается истолковать

по-своему. Он даже не стремится выдвинуть какую-либо свою концепцию, с которой можно было бы поспорить, ибо считает, что все основные вопросы, связанные с литературой 1830-х годов, давно решены”.

В этом и заключалась принципиальная разница (со всей остротой обозначившаяся именно во второй половине 1960-х) между Кожиновым и его оппонентами. Он выдвигал новую, острую, обоснованную концепцию – они же пытались ловить его на “передержках”, неточностях, и сами при этом сплошь и рядом передёргивали или обрывали в “нужных местах” цитаты, а то и вычитывали из них лишь необходимый им смысл, вырывая из текстуального и исторического контекста. В этом отношении любопытна реакция на кожиновскую статью Маризетты Омаровны Чудаковой.

Известная как “булгаковедка”, она в своё время начала литературную деятельность с книжки, посвящённой Эффенди Капиеву, потом уже перейдя на изучение Михаила Зощенко и Юрия Тынянова. Неистовая либералка по своим убеждениям, она, конечно, вычитывала в Чаадаеве “своё”, при том, что “свободолюбивому литературоведу” невозможно было внутренне не симпатизировать Кожинову и хотя бы лёгким движением склоняться в сторону Дементьева. Но не признать в Чаадаеве западника... Не-е-ет!

“Помню, пришли мы с Ирой Роднянской, – через много лет вспоминала она, – на дискуссию о кожиновских статьях в “Вопросах литературы” (1969 год, если не ошибаюсь), о статьях, пересматривающих историю литературы XIX века. Я была гораздо больше на его стороне, чем на стороне его оппонентов, но столь очевидно было в его статьях, хотя бы на примере пассажа о Чаадаеве (я проверила перед тем, как пошла на дискуссию – и была этим поражена), передёргивание... Как можно было его поддерживать?... А когда Ира выступила в его поддержку, то Палиевский ухитрился так её похвалить: “Вот видите, к нам примкнула Роднянская...” Да ещё это постоянное кивание в сторону Сталина – при нём, мол, были великие писатели, “не то, что нынешнее племя...” Соблазняли малых сих. Да и подспудная поддержка националистического крыла власти смутно ощущалась...”

Это писалось уже через много лет, когда в сознании Чудаковой Кожинов и Палиевский отражались не иначе как смертельные враги (здесь и “смутные ощущения” пришлось к месту)... Но всё же интересно: какой “пассаж о Чаадаеве” проверяла Маризетта Омаровна? Почему не пожелала об этом упомянуть? Или “проверила” цитату точно так же, как её “проверил” Дементьев? И почему Роднянская – культурный и образованный критик, писавшая одну из статей совместно с Кожиновым для “Краткой литературной энциклопедии”, – не заметила никаких “передёргиваний”?

Был на этом обсуждении ещё один занятный эпизод: Фёдор Левин, выпускник Института красной профессуры, восьмимесячный “сиделец” в годы войны, “космополит” в конце 1940-х, заместитель председателя секции критики ССП в середине 1960-х, убеждённый революционер-идеалист и “прогрессист”, писавший в это время книгу об Исааке Бабеле, – не выдержал. В какой-то момент у него сдали нервы, и он в ответ на одну из реплик Кожинова (которую, очевидно, в унисон с Чудаковой воспринял, как “кивание в сторону Сталина” – тут ведь главное услышать то, что услышать очень хочется!) заявил: “Так может рассуждать только фашист!” “Так, значит, те, кто поддерживает Кожинова – профашисты?” – мгновенно среагировал Палиевский. “Конечно”, – ничтоже сумняшеся отвечивал Левин. “Значит, и она – профашистка?” – продолжал Палиевский, указывая на Роднянскую, чью национальность нельзя было спутать ни с какой другой. Левин поперхнулся, сел на место под громкий смех собравшихся и более не высывался.

* * *

Когда Кожинов писал Бахтину об “общекультурной” обстановке в Москве”, о том, что она “крайне, небывало смутная, ничего не разберёшь” и что “даже пожилые люди сбиты с толку, теряют прежние свои позиции”, он имел в виду многое, и в первую очередь определённую растерянность самой власти, которая никак не могла игнорировать и забыть хрущёвскую “антисталинистскую” кампанию XX и XXII съездов КПСС (кто бы что бы потом об этом ни говорил и ни писал!), одновременно пытаясь установить некий “баланс”

в отношениях с творческой интеллигенцией, “укротить” свары, разгоревшиеся между различными изданиями – органами Союза писателей СССР (в первую очередь, между “Новым миром” и “Октябрём”), и по возможности “нивелировать” последствия хрущёвских психозов в экономике и социальной политике (чего сделать в полном объёме так и не удалось). Он имел в виду и взбаламученность самой “активной” части интеллигенции, которая, возжаждав неуклонной поступи общественного “прогресса”, любое покушение (явное или “по умолчанию”) на хрущёвское “антисталинское” наследие воспринимала не иначе, как “реабилитацию” Сталина и “сталинизма” (даже в том случае, когда речь заходила о “вытравливании” явных хрущёвских нелепостей, связанных с ролью Сталина в период Великой Отечественной). И, наконец, крайне обострился национальный вопрос – на первый план вышел, точнее сказать, назойливо вылез вопрос “еврейский”.

Кавычки здесь не случайны, потому что под прикрытием вопроса национального во весь рост вставали и крайне обострялись куда более существенные вопросы общего порядка.

Это начало ощущаться, причём резко и последовательно, ещё при Хрущёве.

“Еврейские беды услышались первыми. Их голоса звучали громчей, поскольку не обделили нервами евреев в эпоху дела врачей”, – писал Борис Слуцкий, поминая далее и “репрессированные народы” Северного Кавказа, и крымских татар, чьи проблемы оставались долгое время проблемами сугубо “национальными”, тогда как “еврейские” тут же приобрели характер “всеобщих”.

Память об “антикосмополитической” кампании и “деле врачей” в их “еврейской” интерпретации (считалось вселенским кощунством простое обращение внимания на тот очевидный факт, что в этих “кампаниях” пострадавших русских было ничуть не меньше, нежели евреев, не говоря уже о том, что в избиении многих “космополитов” отменно отличились их единокровные “братья”), о “деле” Еврейского антифашистского комитета (рядом с которым куда более грандиозное “ленинградское дело” не упоминалось вообще) – эта память требовала соответствующей “компенсации”. Массовые сокращения в учреждениях, прошедшие сразу же после смерти Сталина и реабилитации врачей, совершенно не коснулись евреев – как бы в “возмещение” массовых увольнений в предыдущие годы (как в том, так и в другом случае – независимо от квалификации и добросовестности). Это что касается кадрового вопроса. А что касается культурного...

О Твардовском, потребовавшем от Константина Паустовского сократить в повести “Время больших ожиданий” кусок о Бабеле (Твардовский написал Паустовскому, что Бабель “не является для всех тем “божеством”, каким он был для литературного кружка одесситов”) и заявившем Василию Гроссману по поводу его очерка, что “ни одному народу, в том числе и еврейскому, нельзя давать привилегию страдания”, тут же был пущен слух, как об “антисемите”... Скандал с публикацией евшушенковского “Бабьего Яра” также весьма показателен (был в этой истории ещё один аспект, о котором мы поговорим далее). Естественная недоумённая реакция Дмитрия Старикова на кричащие и претенциозные строчки “Ничто во мне про это не забудет! “Интернационал” пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей. Но ненавистен злобой заскоружлой я всем антисемитам, как еврей. И потому – я настоящий русский!” – мгновенно вызвала обвинения в “черносотенстве” (показательно, что Секретариат ЦК КПСС принял постановление “Об ошибках редколлегий “Литературной газеты” и газеты “Литература и жизнь”, где и “Бабий Яр” Евгения Евшушенко, и “Мой ответ” Алексея Маркова были признаны идеологически вредными, а их публикация расценивалась как грубая политическая ошибка)... Дмитрий Шостакович был от “Бабьего Яра” в полном восторге: его, как он писал в одном из писем, “высокий патриотизм, его горячая любовь к русскому народу, его подлинный интернационализм захватили меня целиком, и я “воплотил” или, как говорят сейчас, “пытался воплотить” все эти чувства в музыкальном сочинении. Поэтому мне очень хочется, чтобы “Бабий Яр” прозвучал и чтобы прозвучал в самом лучшем исполнении”...

О том, какая атмосфера превалировала тогда в культурной жизни, свидетельствует красочное послание главного редактора литературно-драмати-

ческого вещания Белорусского радио Н. Е. Матуковского секретарю ЦК Л. Ф. Ильичёву:

“19, 20, 21 марта (1963 года. — С. К.) в Минске исполнялась Тринадцатая симфония Д. Шостаковича. ЦК КПСС уже имеет об этом произведении определённое мнение. Но, может быть, Вы не знаете всего того, что происходит вокруг него... Первые же звуки симфонии как-то ошутимо разделили зал на евреев и не-евреев. Евреи не стеснялись в проявлении своих чувств, вели себя весьма эксцентрично. Кое-кто из них плакал, кое-кто косо поглядывал на соседей. В этих взглядах сквозила неприкрытая неприязнь... Другая половина, к которой относился и я, чувствовала себя как-то неловко, словно в чем-то провинилась перед евреями... Потом чувство гнетущей неловкости переросло в чувство протеста и возмущения... Самое страшное, на мой взгляд, что люди (я не выделяю себя из их числа), которые раньше не были ни антисемитами, ни шовинистами, уже не могли спокойно разговаривать ни о симфонии Шостаковича, ни о... евреях... У нас нет еврейского вопроса, но его могут создать люди вроде Е. Евтушенко, И. Эренбурга, Д. Шостаковича. Тринадцатая симфония является убедительным подтверждением этой мысли. Она возбуждает бациллы не только крайне опасного еврейского национализма, но и не менее опасного шовинизма, антисемитизма. Разжигая национальную рознь, она льёт воду на чужую мельницу... Конечно, запрещение Тринадцатой симфонии вызовет неблагоприятную реакцию, различные кривотолки и у нас, и за рубежом... Но из двух зол всегда выбирают меньшее...”

Смысл этого послания станет ещё более очевидным, если вспомнить, какое значение придавалось “еврейскому вопросу” (в его отнюдь не узконациональной интерпретации) в тогдашних “интеллигентских кругах”.

“В нашем литературном мире, — вспоминала поэтесса Лариса Васильева как раз о 60-х годах, — разделённом на правых — славянофилов и левых — западников, лакмусовой бумажкой для определения принадлежности писателя к тому или иному лагерю был еврейский вопрос. Если ты еврей, значит, западник, прогрессивный человек. Если наполовину — тоже. Если ни того, ни другого, то муж или жена евреи дают тебе право на вход в левый фланг. Если ни того, ни другого, ни третьего, должен в творчестве проявить лояльность в еврейском вопросе. Точно так же по еврейскому признаку не слишком принимали в свои ряды группы правого, славянофильского фланга”.

Понятно, что в этом высказывании многое упрощено и спрямлено, тем более что вызывают крайнее недоумение весьма неточно употребляемые здесь термины “западники” и “славянофилы” (впрочем, с такой же “точностью” они употреблялись большинством наших писателей в 1960-е). Но вот что касается “лояльности в еврейском вопросе”, то он, действительно, был в определённых “кругах” “лакмусовой бумажкой”. Такой “бумажкой”, которой представители этих самых “кругов” пытались оценивать всю окружающую общественную, политическую и культурную жизнь.

Помните истерику, которую закатил Аркадий Белинков супругам Чудаковым?

“Вы евреи!.. Раз вы против этой власти — значит, евреи! Все русские интеллигенты — евреи!”

Это, идущее от сверхэмоционального (также на грани истерии) цветаевского “Гетто избранничеств! Вал и ров. Пощады не жди! В сём христианнейшем из миров поэты — жида!”, было весьма и весьма распространено в нашей интеллигентной публике.

По рукам ходила в виде машинописи книга воспоминаний Надежды Мандельштам с той же самой — выношенной, вынужденной — по сути, расистской мыслью:

“...Евреи и полукровки сегодняшнего дня — это вновь зародившаяся интеллигенция.

Все судьбы в наш век многогранны, и мне приходит в голову, что всякий настоящий интеллигент всегда немного еврей...”

То есть речь не идёт о сугубо национальном происхождении. Речь о том, что человек любой национальности — интеллигент, свободолюбец, критически или с ненавистью относящийся к власти, — может (а по сути должен!) отождествлять себя с евреем, точнее, с Вечным Жидом, вечно гонимым протестантом.

И это было подхвачено и развито нашими “интеллигентами” разных “кровей” и “мастей”.

“Национальный склад русского и интеллигента имеет мало общего с национальным складом крестьянина, рабочего или бюрократа” (Борис Шрагин).

“Во-первых, еврейский вопрос имеет самое непосредственное, самое прямое касательство к литературному процессу. Во-вторых, всякий русский писатель (русского происхождения), не желающий в настоящее время писать по указке, — это еврей. Это — выродок и враг народа. Я думаю, если теперь (наконец-то) станут резать евреев в России, то первым делом вырежут писателей, интеллигентов не еврейского происхождения, чем-то не подпадающих под рубрику “свой человек”. И в более расширительном смысле всякий писатель — француз ли он, англичанин, американец, которому никто не угрожает, — еврей, которого надо бить (и тогда он, может быть, что-то напишет)” (Андрей Синявский).

Неважно, что подобные суждения печатались годы спустя “за бугром”. Важно, что они имели хождение здесь. И любой человек, не согласный с этим “глубокомыслием”, да ещё дававший возможность это понять, тут же в лучшем случае “отлучался” “чистой публикой” от “интеллигенции”, а в худшем — получай клеймо “фашиста”. И в такой атмосфере, в самом деле, кто-то приобретал вечный “комплекс вины”, а у кого-то от постоянно (гласно или негласно) внушаемого, что “все левые — еврей” и что “порядочным людям” необходимо находиться именно в “этом стане”, всё более и более нарастало “чувство протеста и возмущения”.

Всё это чем дальше, тем больше напоминало заново превозносимые и поистине страшные для миллионов людей первые послереволюционные годы.

Из дневника Владимира Десятникова:

“6 марта 1967 г. Общество охраны памятников хоть и создано, но покушений на русскую старину никак не стало меньше. При этом всякий раз норовят ударить под дых. При Никите Хрущёве была затея разобрать одно прясло Кремлёвской стены от Троицкой башни в направлении Боровицкой, чтобы народ-де торжественно мог войти по белораморной лестнице в посохинский Дворец съездов. Услужливые компаньоны Михаила-иуды Посохина проект быстренько состряпали, но восставшая общественность не допустила кощунства над святыней. Теперь всё тот же Посохин, но уже в ранге свежеспеченного члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, лауреата Ленинской премии, застраивает проспект Калинина и прилегающие переулки таким образом, чтобы под многоэтажными мастодонтами похоронить самую поэтическую часть центра Москвы. И опять общественность восстала. Снова мы ходим, собирая под нашей петицией подписи именитых русских людей — Л. М. Леонова, А. А. Пластова, П. Д. Барановского, Б. А. Рыбакова, П. Д. Корина — в защиту памятников Отечества. Собственно, а у кого, как не у своих, мы можем найти понимание? За всё время мне даже в голову не пришло идти подписывать письма к И. Г. Эренбургу или С. В. Образцову. Вовек не забыть, как Образцов визжал и брызгал слюной на обсуждении Всероссийской художественной выставки в Манеже. Дескать, кто дал право включать в каталог картины с антисемитскими названиями. Если уж ему мерещится антисемитизм на этикетках картин, то, прочитав наше письмо, он тут же общит “куда следует”. Нет, что ни говори, у нас свои проблемы и свои “подписанты”, а у них, образцовых, свои. У них в основном борьба за права человека, а у нас — борьба против бесправия народа...”

...Всё, смутно бродившее внутри, обнажилось в июне 1967 года, после того как Израиль (предварительно устраивавший постоянные провокации на границе с Сирией), разбомбив на аэродромах египетскую и сирийскую авиацию, одержал победу в “шестидневной войне”, заняв Голанские высоты, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и весь Синайский полуостров (взяты в плен солдаты арабской коалиции незамедлительно расстреливались).

Эта победа, как потом напишут авторы “Еврейской энциклопедии”, “способствовала пробуждению национального самосознания у многих тысяч почти совершенно ассимилированных евреев”, многие из которых пришли к мысли “о невозможности дальнейшего проживания в СССР... Десятки тысяч молодых евреев Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Риги стали приходить к синагогам во время еврейских праздников. Росло число евреев, подающих документы на выезд в Израиль”.

Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем как с агрессором. И в это же время драматург Александр Гладков записывал в своём дневнике: "...Почти все евреи – космополиты и ассимиляторы любви – тайно или явно радуются победе Израиля. Это конечно не идеология, а гены".

Гладков всё же ошибся. Конечно, гены. Но не менее – идеология. Идеология нового "левачества", отождествляемого с "еврейством".

И эта идеология в завуалированном или достаточно откровенном виде дала о себе знать, когда завертелась дьявольская карусель вокруг клуба "Родина", а также вокруг писателей, критиков и публицистов журнала "Молодая гвардия".

* * *

В марте 1963 года главным редактором этого журнала стал фронтовик Анатолий Васильевич Никонов. Поначалу линия сего издания особо не отличалась от других, соседствующих с ним. Колонка "комментирует В. Турбин" с авторской "ошарашивающей клоунадой" (о ней уже шла речь) соседствовала с "Озой" Андрея Вознесенского... "Молодая гвардия" как бы продолжала шестивые в хорошо протоптанной "либеральной" колее.

Всё начало меняться в 1965 году. Впервые всенародно отмеченный праздник Дня Победы (9 мая с этого года стало нерабочим днём) стал толчком к совершенно новому осмыслению отечественной истории. Ветеран войны и историк по образованию, Никонов стал исподволь, но неуклонно менять линию комсомольского журнала.

Из воспоминаний Валерия Ганичева:

"Комсомол назначил главным редактором Анатолия Никонова... Чтобы Никонов не проявил национального духа, тогдашний секретарь ЦК ВЛКСМ, будущий активный перестройщик Лев Карпинский обложил его сыновьями "оттепели". Анатолий Приставкин, Владимир Амлинский, Артём Анфиногенов – члены редколлегии, а заместителем приставили писателя Рекемчука, которому пообещали в будущем место главного.

Анатолий Васильевич, человек в коридорах власти искушённый, исподволь и осторожно освободился от "надзирателей". Ушёл и Рекемчук. Вот тогда-то Никонов и пригласил меня из ЦК ВЛКСМ, где я "отвечал" за молодёжные издания... Я стал помощником и соратником замечательного человека. Он многое мне доверял, постоянно помогал, просвещал, давая читать "закрытую" для нас тогда литературу (русских философов, эмигрантов, "Протоколы сионских мудрецов" и т. д.), сообщал неизвестные факты. Так, с его помощью впервые познакомился я с реальной биографией Тухачевского, с документами семейства Брик, с перечнем и биографиями "кремлёвских жён" и т. д. Он был человек державных устремлений... Многое ему не нравилось, но выступать с разрушительными лозунгами он не собирался, а мечтал о переходе созидательными путями к лучшему состоянию в стране. Свою роль он видел в накоплении такого художественного и фактического материала в журнале, который произвёл бы переворот в сознании людей (в том числе и руководителей страны), чтобы они увидели, кто подлинные друзья и враги России... В литературном мире кипят страсти, идёт, как кажется всем, главная борьба между демократически-либеральным "Новым миром" и средоточием "перезрелого", догматического социалистического духа – "Октябрём" Всеволода Кочетова. А в это время "Молодая гвардия" исподволь становится трибуной национального самосознания, своеобразным русским духовным очагом..."

В это время "Новый мир" и "Октябрь", как два барана, сшиблись рогами на мостике "советской литературы", не желая уступать друг другу дорогу. "Новый мир" выступал с позиций "критического реализма", апеллируя к наследству Николая Добролюбова, Николая Чернышевского, Дмитрия Писарева; "Октябрь" – с позиций "реализма социалистического", периодически упрекая "Новый мир" в "очернении советской действительности"... Очень многое в этом противостоянии объяснялось и личным антагонизмом двух главных редакторов. Конечно, не всё было одноцветно и однозначно. В том же "Новом мире" взыскательный читатель с радостью открывал для себя рассказы Солженицына, повести и рассказы Виктора Лихоносова, романы Фёдора Абрамова

и Юрия Домбровского, а после того, как Белов прогремел на всю страну “Привычным делом”, Твардовский сделал всё, чтобы заполучить и его в свой авторский актив. В “Октябре” же, в отличие от “Нового мира”, выделялся отдел поэзии (благодаря Дмитрию Старикову), да и в отделе критики было что почитать...

“Смею утверждать, что некоторые наиболее левые авторы “Октября” тех лет были значительно ближе к идеям “Нового мира”, нежели “Октября”, как и некоторые произведения, опубликованные “Новым миром”, вполне могли бы появиться на страницах “Октября”, но авторы просто не желали нести их в редакцию журнала, дабы не испортить свою репутацию...” – утверждал ближайший сотрудник Кочетова критик Юрий Идашкин, и в этом отношении он совершенно прав.

Не говоря уже о том, что и “Новый мир”, и “Октябрь” печатали прозу Шукшина и стихи Соколова (при негласном правиле, действующем и тут, и там – не принимать в журнал автора, публикующегося во “враждебном” издании”), – показательна здесь судьба начинавшего свой путь в литературе Владимира Максимова. “Впервые я услышал о Максимове в 60-х годах от Всеволода Кочетова, который говорил о нём с жаром, противопоставляя его Солженицыну. В то время Максимов, обративший на себя внимание своим писательским талантом, был действительно близок к “Октябрю”, – это вспоминал Витторио Страда. Сам Кочетов в “Комсомольской правде” говорил о прозаике: “Путь молодого писателя был нелёгким. С повестью “Жив человек” его выпроводили за порог не одной редакции. И не от избытка внимания к себе вынужден был талантливый молодой писатель пойти печататься в сборнике “Тарусские страницы”...” “Ваши либералы в штаны наклали, – без всяких дипломатий заявил тогда Кочетов Максиму, – бояться вас печатать, а я не боюсь”. И в скором времени Максимов стал членом редколлегии “Октября”... То же самое “Время больших ожиданий” Паустовского (с “крамольными” страницами, посвящёнными Бабелю) было беспрепятственно напечатано у Кочетова, как и “Синяя тетрадь” Эммануила Казакевича, “застрявшая” в “Новом мире” без каких-либо шансов на продвижение.

Отношения между собой эти два издания могли выяснять бесконечно, что приводило в нешуточное раздражение партийное руководство. Дошло до того, что на очередной партийный съезд ни тот, ни другой главный редактор не были выбраны делегатами, а по Москве пошли упорные слухи (видимо, имеющие под собой серьёзные основания), что высшее начальство собирается снимать их обоих со своих постов одновременно... Но тут оказалось, что ещё в одном журнале – органе ЦК ВЛКСМ! – набрала силу тенденция, одинаково неприемлемая как для “советских догматиков”, так и для “советских демократов”. Эта тенденция наиболее ярко и отчётливо проявилась в статьях Михаила Петровича Лобанова.

“Чтобы победило живое” – так называлась одна из его наиболее запомнившихся с тех времён статей о мире русского крестьянства, который он знал сизмальства, о народной речи и литературном языке.

“Веками создавал русский народ свою народную цивилизацию, творил свой несравненный, могучий, как безбрежный океан, родной язык. И было бы трагичным для нации предать забвению народные сокровища. Это означало бы строить дом без фундамента, это означало бы безмерно урезать духовную жизнь молодых поколений. Вот почему проблема народности языка становится одной из главнейших для нашей литературы. Я вспоминаю, с какой грустью говорил мне Борис Шергин, этот волшебник русского народного слова, о том, что на его родном Севере, в архангельских краях, нивелируется разговорный язык, исчезает многоцветность, образность северного говора... Забвение народного слова – это страшное обеднение духовное... Не произойдёт ли с русским народным языком то же самое что случилось с архитектурными памятниками нашей старины: долгое время не замечали чудо, не очень-то берегли сокровища, а когда они скорбным образом стали уменьшаться, то стало яснее, что мы наследуем, и резко обострилась любовь к старине. Нашу веру в русский язык питает заключённая в нём мощь внутренней жизни...” И далее шёл пристальный, тонкий, внимательный разбор повестей и рассказов Василия Белова: “Ему доступна не речевая шелуха... а дух народного языка и его поэзия... Важно знать, что эта жизнь слова возможна только в душах непустых – многоцветья не бывает на пустыре. Я не раз

замечал, что деревенские люди, особенно старухи, которых слушаешь и не наслушаешься, — всегда люди душевно живые, участливые к другим. И, напротив, люди чёрствы — сухи в речи... Послушать настоящую крестьянскую речь — это значит испытать, как говорили в старину, веселие духа, почувствовать себя причастным к нравственному опыту народа...” И далее Лобанов, выделяя крайне существенную мысль — “Литература о деревне не может быть узкодеревенской”, — специально останавливается на “некоей внутренней замкнутости местной жизни” в беловой прозе. “В самом лиризме прозы Белова уже чувствуется некоторая степенность, вряд ли согласующаяся с тревожными исканиями” (это писалось ещё до появления “Привычного дела”).

Так не разговаривали тогда ни в одном литературном издании. Рядом с подобным письмом все “выяснения отношений” между соседними журналами, вся их полемика о “гражданственности” и “социальности” казались мелким пустозвонством. А главное — то пространство жизни, истории, языка, которое открывалось в статьях Лобанова, переносило читателя в мир, чрезвычайно далёкий от всех псевдообщественных бурь 1960-х.

Эта статья была напечатана в декабре 1965 года. Через полгода на страницах “Молодой гвардии” появляется новая статья “Внутренний и внешний человек”, в которой Лобанов сопоставил повесть В. Ханжина, напечатанную в “Октябре”, и рассказа И. Грековой — одного из “культурных” авторов “Нового мира”. Сопоставил — и пришёл к неумолимому выводу:

“Пожалуй, рассказ И. Грековой написан “покультурнее” в том смысле, что здесь не встретишь острот вроде “бред сивой кобылы” или же таких “принципиальных” фраз в отношении отца и дочери, как “и он рассказал, в чём суть его задачи”. Но справедливости ради надо сказать, что по своей “стенографичности” язык рассказа И. Грековой вполне сродни языку повести В. Ханжина... Но ничего неожиданного в этом нет... Никакие высокие слова, никакие эмоции не станут фактом художественной литературы, если они не будут духовно проявлены. Без духовного нет в произведении жизненного, глубинного измерения. Тогда-то и возможны такие неожиданности, как побратимство... двух сочинений, опубликованных в журнале “Октябрь” и “Новый мир”. Тогда-то и возможно такое зрелище, как объятие этих журналов, которые вроде бы “идейно воюют” между собой, оставаясь внутренне абсолютно чуждыми традиционной русской духовности”.

Столь же, казалось, бы парадоксальное (а по сути, абсолютно логичное) сопоставление напечатанной в “Юности” “Истории одной компании” Анатолия Гладилина с пресловутым лебедевским “Чаадаевым” было проведено в статье “Личность истинная и личность мнимая”. “Бросается в глаза вопиющая духовная неразвитость этих “ярких индивидуальностей”. Какими были в пятнадцать-семнадцать лет — такими остались и в тридцать”, — писал Лобанов о героях Гладилина, подводя читателя к мысли о подобной же духовной неразвитости автора “Чаадаева”, уподобляющего своего героя себе самому. “Автор рассматривает Чаадаева как одинокую, никем не понятую личность... Чаадаева ли не волновала судьба России, а исследователь пишет, замкнувшись в колпаке своих книжных рассуждений о личности... как бы и не подозревая столбовой дороги исторического движения России... Дело, конечно, не в том “патриотизме”, который “насквозь пропах квасом”, по энергическому выражению А. Лебедева. Как слово мыслящего человека о Родине детерминировано её историей, так бесплодны всякие “чуждательства” вне национальной среды. Сам же Чаадаев сказал: “Чтобы явственно говорить роду человеческому, надо обращаться к своей нации, иначе не будешь услышан и ничего не сделаешь”... Предмет писания у автора повести в журнале “Юность” и автора книги о Чаадаеве совершенно разный, но по своей сути эти вещи родственны между собой. Их объединяет общий критерий личности — критерий измелёнчатый, обескровленный отрывом от внутренних сил народной жизни”.

Анатолий Никонов прекрасно отдавал себе отчёт в возможных последствиях публикаций подобных статей. Лобанов вспоминал, как Никонов, читая его статью “Нахватанность пророчеств не сулит...”, слегка усмехаясь, произнёс: “После того как мы разнесём Евтушенко — не разнесут ли нас Лужники?” Ладно — Лужники. Лобанову пришлось отвечать на выступление в норвежской газете некоего господина Нага, который назвал Евтушенко “борющейся личностью” и “предшественником Достоевского”(!), статью Лобанова охарактеризовал, как “интеллектуальную мерзость”, о самом критике написал, что тот

“не имеет ни разума, ни чувства”, а о своём собственном опусе отозвался как о “предостережении как в Советском Союзе, так и в других странах”.

...Никонов, видимо, рассчитывал на поддержку Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Сергея Павловича Павлова, для которого святая память о Великой Отечественной была неотрывна от всего, что было сотворено с этой памятью ещё несколько лет назад, во времена Хрущёва (при том, что сам Павлов был “хрущёвцем” – ставленником Первого секретаря). Заместитель Никонова Валерий Ганичев вспоминал, как Павлов в 1965-м вызвал из обоих для серьёзного разговора: “Можем мы сделать так, чтобы молодёжь снова гордилась своими отцами? Ведь при Никите мы их заплевали. Плохо, видите ли, воевали”... Человек чуткого государственного мышления, он почувствовал, что может зародиться широкое патриотическое молодёжное движение, миллионы молодых будут приобщены к подвигу отцов. Действительно, в течение нескольких лет был организован массовый поход по местам боевой славы нашего народа, руководимый штабом, в который входили видные военачальники, Герои Советского Союза, общественные деятели, комсомольцы, пионервожатые...

Другое дело – понимал ли сам Павлов до конца смысл перемен, происходящих в “Молодой гвардии”? И готов ли он был во всех ситуациях отстаивать своего протеже Никонова, который благодаря ему занял пост главного редактора?

“С его именем, – вспоминал о Никонове Лобанов, – у меня связаны самые отрадные литературные воспоминания... В этом человеке чувствовался большой деятель, нереализованный, крупный руководитель, он и мог быть им, но, видимо, для этого он был слишком самобытный характер... Историк по образованию, он не был “специалистом” в литературе, но у него было глубокое чутьё на правду в ней, на народное и “антинародное”, как он говорил, и этот крупный взгляд главного редактора определил, в конце концов, направление журнала, которое приобрело вскоре, как это видно особенно теперь, на расстоянии, огромное общественное значение.

Впервые за многие десятилетия заговорили о традициях – истории, народной жизни, культуры, литературы. Из прошлого России возвращалось (хотя бы жалкими урывками) то, что тонуло в “стонах” да “тёмном царстве”. Кажется, из небытия слышались голоса далёких наших предков: Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и – совсем уж неслыханное дело! – митрополита Илариона из IX века, автора “Слова о Законе и Благодати”. На страницах журнала всходили ростки национального самосознания. Конечно, было и много лёгкого, шумного: стишки с чуть ли не в каждой строке “Русью”, “Россией”, перепевы о “малой родине”, недостаточная грамотность и историческая, и культурная. Немало было сорного, случайно прибившегося к течению... И всё это – неотъемлемо и неотделимо от Анатолия Васильевича Никонова, всё сходилось к нему, довольно было знать, что он поймёт всё здоровое, не остановит, даст ход ему, чтобы писалось “от души”, с уверенностью в нужности своевременного слова...

Он был натуральный москвич, сердился, когда кто-то неуважительно высказывался о Москве. Прекрасно знал старые названия её улиц, площадей, любил иногда задать вопросец по части истории города, который ставил в тупик (и в этом был схож с Кожиновым. – С. К.)... Мы все, пережившие прошлое, живём с незаживающим чувством потерь... У Никонова были свои, московские потери. Не было уже той Москвы, какой она была в 30-х, памятных ему годах. Исчезли архитектурные жемчужины, украшавшие белокаменную, делавшие её одним из красивейших, самобытных городов мира. Память об этом тяжёлом камне висела на душе коренного москвича-патриота. Не случайно в “Молодой гвардии” впервые появился систематизированный материал о разрушенных памятниках Москвы, перечень снесённых с лица земли московских храмов.

Рядом с “Письмами из Русского музея” Владимира Солоухина в журнале появилась потрясающая повесть Виктора Курочкина “На войне, как на войне” (“Какую вещь мы получили!” – восхищался Никонов, потирая руки в радостном возбуждении). Александр Яшин по горячим следам записал в дневнике: “Отличная, талантливая вещь. А её громят в “Литературной газете” и, кажется, в “Комсомольской правде”. Конечно же, подонки должны завидовать каждой талантливой вещи и принимать её в штыки, потому что каждая такая повесть разоблачает их бездарность”.

Кожинов мгновенно отозвался на её появление в уже упоминавшейся статье “Искусство живёт современностью”. Он, оставшийся если не совершенно равнодушным, то хладнокровно спокойным к бурным обсуждениям “лейтенантской прозы” Симонова, Бакланова, Быкова, Бондарева (как и к ней самой), мимо повести Курочкина пройти не смог. И объяснил, почему.

“Это самобытное изображение войны, с поразительной убедительностью раскрывающее, почему мы победили в этой войне. Здесь показано, как побеждали люди, которые воевали “не по правилам”, ибо это была не просто победа армии, но победа народа. Совершая своё открытие, писатель отбросил установившийся у нас в изображении будней войны этакий хемингуэвско-ремарковский стиль (он впервые проявился в книге “В окопах Сталинграда” Виктора Некрасова, отмеченной Сталинской премией. — С. К.), который неизбежно приносил и соответствующее содержание, не давал возможности воссоздать истинное лицо этой войны, приводил с собой неких внешне суровых, замкнутых и немногословных “стопроцентных мужчин”, внедрял своего рода военно-спортивную атмосферу, которая была совершенно чужда этой войне... И в образах героев как бы просматриваются черты, которые сегодня в наши дни свойственны облику тех из них, кто выжил. Эти живые современники незримо присутствуют в повести, как присутствует в ней и сам автор, человек 60-х годов”.

Кожинов привёл здесь же строки из письма, напечатанного в “Вопросах литературы”: “Могу назвать многих авторов современных романов, которые по широте охвата тех или других событий могут соперничать с классиками. Но, увы, они далеки от совершенства. “Тишину” или “Солдатами не рождаются”, например, можно прочитать один только раз. Где красота языка? Точность? Изящество формы?” Кожинов сделал к этой цитате необходимое дополнение (интересно, что при перепечатке статьи в сборнике избранных критических работ в 1982 году редакция выбросила упоминавшиеся названия этих популярнейших произведений начала 1960-х): “Без красоты, точности, изящества формы невозможны эти качества и в содержании. Более того, и глубина, и даже подлинная художественная широта... немислимы без совершенства, без лирической глубины и эпической широты самой формы”.

Через год Вадим Валерианович снова вернулся к повести Курочкина и её главному герою: “Одним из необходимых условий творческой победы писателя явилось то, что он отказался от уже ставшего дурной традицией использования “хемингуэвщины” в стиле и ритме. И именно это, в частности, позволило ему с замечательной убедительностью показать, почему мы смогли победить едва ли не самую лучшую в мировой истории армию, где было, между прочим, гораздо больше “профессиональных”, стопроцентных солдат, чем у нас. Его герой — Саня Малешкин — в “хемингуэвской” художественной системе мог бы предстать только как персонаж “заднего фона”, к тому же чисто комический и неспособный совершить что-либо значительное. Он воюет явно “не по правилам”, в нём нет никакой “спортивности”, ему абсолютно непонятна была бы “чемпионская” логика в духе “победитель не получает ничего” (в частности, потому, что он и не хочет ничего получить, кроме победы над смертельным врагом). Но Саня Малешкин — вернейшее воплощение народа, сумевшего подняться, когда руки врага, казалось бы, уже сжались на горле, и совершить то военное “чудо”, которое ещё долго будут разгадывать историки.

Этого Малешкина писатель создал тем искусством, тем мастерством слова, которое не даётся без подлинного жизненного “поведения” и честного художнического труда”.

(К сожалению, это было последнее произведение, написанное Виктором Курочкиным. В 1968 году — в год, когда на экраны вышел фильм по его повести, — он был жестоко избит в отделении милиции и больше работать уже не мог. Прожив ещё восемь лет, писатель скончался от второго инсульта, всё это время будучи не в состоянии ни читать, ни писать, ни говорить.)

...К этому времени в культурной жизни произошло несколько событий, характеризующих как саму эпоху, так и напряжение в противостоянии различных сил этого крайне смутного времени.

В печати стали появляться отдельные фрагменты (достаточно пространственные по объёму) массивного труда историка Александра Зимина, который,

увлечённо рассуждая о “Задонщине” как о “предшественнице “Слова о полку Игореве...”, “доказывал”, что “Слово...” – подделка XVIII века. Через много лет он признавался, что не научные, а политические причины подвигли его на создание этого “исследования”, написанного уже по следам прогремевших на весь мир работ французского “скептика” Андре Мазона. Впрочем, это стало ясно уже на обсуждении зиминского фолианта в Институте истории Академии наук в 1963 году. Практически все собравшиеся учёные, что называется, собаку съевшие на изучении памятников древнерусской литературы, отвергли концепцию Зимина, согласно которой “Слово о полку Игореве...” “принадлежало” перу Иоила Быковского для прославления победы Екатерины II в Малороссии и в Крыму... При этом большинство выступавших (в частности, академики Дмитрий Лихачёв и Борис Рыбаков) настаивали на необходимости издания данного сочинения, чтобы “автор разоблачил сам себя”... (При своей жизни автор так и не собрался, а может быть, и не захотел приложить какие-либо усилия к изданию, хотя работал над текстом до самого конца). Само обсуждение проходило в сугубо академической форме, кажется, участники заранее договорились между собой по возможности избегать в разговоре любого привнесения “политики”... Но избежать этого не удалось. Потому что “политику” внёс в это обсуждение не кто-нибудь, как... “гонимый” Зимин. Услышав от Дмитрия Сергеевича Лихачёва, что он, по сути, совершенно не оригинален, Зимин разразился пламенной речью.

– Если говорить о предшественниках, – а о них говорить всегда нужно, – то я считаю, надо было бы сказать о том, кто же начал полемику с Мазоном и чьи аргументы потом получили развитие. Первым выступил в защиту древности или против Мазона П. Н. Милюков. Его аргументы повторяются в основных чертах и развиваются дальше Д. С. Лихачёвым... Это историографический факт, о котором Д. С. Лихачёв почему-то всегда умалчивает. Далее. Основной противник позднего происхождения “Слова...” – небезызвестный профессор Р. Якобсон (США), политические и научные представления которого достаточно ясны. Его школа поднимается на щит в зарубежной славистике, и я что-то не слышал, чтобы Д. С. Лихачёв хоть когда-нибудь подвергал взгляды Якобсона и его последователей серьёзной критике... Д. С. Лихачёв не упомянул и ренегата Лесного, бежавшего с немцами из Киева и подвизающегося сейчас в Австралии. Этот, с позволения сказать, “учёный” дикой бранью встретил не только работу Мазона, но и прислал, как мне сообщил С. В. Шервинский, уже готовую разностную рецензию против Зимина в комиссию по “Слову о полку Игореве...”... Можно было бы напомнить о том диком вое (иного слова не подыщешь), который был поднят реакционными славистами, прослышавшими теми или иными способами о докладе Зимина и пытающимися сколотить общественное мнение за рубежом против Зимина. Я имею в виду и выступление Якобсона на съезде славистов с анонимным выпадом против меня, и “деятельность” в этом направлении главных столпов реакционной славистики – украинского националиста Д. Чижевского, и “патриарха” эмигрантских историков Г. Вернадского, и многих других. Все они с нетерпением ждут возможности начать разнузданную кампанию против Зимина...

В общем, Лихачёв попал у него в “достойную компанию” – и трудно охарактеризовать эту речь иначе, чем пространный устный политический донос. Но Зимин на этом не остановился. Он до такой степени разошёлся, что в заключительном слове обнажил, по сути, причины, крайне далёкие от науки, по которым взялся за свою многостраничную работу.

– Возможность постановки таких сложных и больших дискуссионных вопросов была совершенно исключена в годы культа личности Сталина. В этот период даже всякие попытки отрицать древнее происхождение “Слова о полку Игореве...” считались кощунством, надругательством над русской культурой и наглядным проявлением космополитизма. Исторические решения XX и XXII съездов партии привели к коренному перелому в решении важнейших проблем отечественной истории, раскрылись невиданные перспективы для развития нашей отечественной науки. Долг советских учёных – с благодарностью ответить на ту заботу партии и правительства, которую они оказывают развитию самой передовой в мире науки... Именно поэтому, руководствуясь решениями нашей партии, руководствуясь теми заветами, которые оставил нам великий Ленин, я и решился на то, чтобы поставить, как мне кажется, большой и важный вопрос.

8 октября 1966 года в “Литературной газете” публикуется памфлет Михаила Лифшица “Почему я не модернист”, после которого этот автор, образованнейший философ и искусствовед, “герой” первого постановления по журналу “Новый мир” 1954 года (тогда, снимая Твардовского, партийные идеологи формально инкриминировали ему публикацию нескольких статей и, в частности, статью Лифшица “Дневник Мариэтты Шагинян”), мгновенно стал “нерукопожатным” в “демократических” кругах. Удивляться этому не приходится, если вспомнить, скольких “священных коров” — начиная от Пикассо и кончая Мейерхольдом и Эренбургом — он затронул в своей статье, ранее опубликованной в европейских журналах:

“Почему я не модернист, почему всякий оттенок подобных идей в искусстве и философии вызывает у меня внутренний протест?”

Потому что, в моих глазах, модернизм связан с самыми мрачными психологическими фактами нашего времени. К ним относятся культ силы, радость уничтожения, любовь к жестокости, жажда бездумной жизни, слепое повиновения.

Может быть, я забыл что-то существенное в этом списке смертных грехов двадцатого столетия, но мой ответ и так длиннее вопроса. Мне кажется, что модернизм есть величайшая измена служителей духовного ведомства, мандаринов культуры — la trahison des clercs, по известному выражению одного французского писателя. Обывательское приспособление профессоров и литераторов к реакционной политике империалистических государств — это мелочь по сравнению с евангелием нового варварства, заключённым в самых искренних и невинных исканиях модернистов. Ибо первое есть как бы официальная церковь, основанная на соблюдении традиционных обрядов, второе же — это общественное движение, добровольное мракобесие, современная мистика. Не может быть двух мнений о том, что опаснее для людей...

Мне скажут, что есть большая разница между тонкой, иногда в каких-то чертах оправданной полемикой кабинетного мыслителя против неограниченной власти интеллекта и знаменитой фразой Шлагетера в драме нацистского писателя Йоста: “Когда я слышу слово “культура”, я спускаю предохранитель на моём револьвере!” Действительно, разница есть. Всё очень сложно в этом мире, самом сложном из миров. Часть создателей *esprit nouveau*, “нового духа” в искусстве и философии, сочувствовала фашизму в его различных версиях — имена достаточно известны, начиная с Маринетти. Другая часть волею судеб испытала на себе его тяжёлую руку. Мы знаем также, что национальный подъём отсталых народов нередко сочетается с “бурей и натиском” новых художественных течений. Нельзя отрицать столь очевидные факты. Среди модернистов бывают люди необычайной внутренней чистоты, мученики, даже герои. Одним словом, бывают хорошие модернисты, но не бывает хорошего модернизма...

В годы моей юности модернисты были очень сильны в революционной России, и они охотно пускали в ход палку, не подозревая, чем это обернётся для них впоследствии. Народный комиссар Луначарский с трудом сдерживал напор ультралевых, следуя в этом прямому требованию Ленина, и Ленин всё же упрекал его за недостаток твёрдости. Илья Эренбург как-то не сошёлся в мнениях с Мейерхольдом, известным левым режиссёром, который в начале революции стоял в главе театрального отдела Народного комиссариата просвещения. Недовольный эстетическими взглядами Эренбурга, Мейерхольд, недолго думая, вызвал коменданта и приказал ему арестовать собеседника. Тот отказался, не имея права производить аресты. Илья Эренбург рассказывает это в своих воспоминаниях как милую шутку, овеванную дымкой прошлого, а мне жутко. Помню Мейерхольда в другой, более поздний период, когда меч уже висел над его головой, — глубоко, искренне жаль человека, художника. Сколько трагедий и сколько в них горького смысла! “Страданием учимся”, размышляет хор в “Орестее” Эсхила.

Культ силы и вкус к разрушению, присущие всякому модернизму, представлены тем же Эренбургом в лице Хулио Хуренито, мечтающего о голом человеке на голой земле. Война и революция для него — ступени к этой заветной цели: чем хуже — тем лучше. “Великий провокатор”, созданный воображением писателя, был недоволен умеренностью русских коммунистов, особенно в области культуры, а Ленину понравился роман Эренбурга. В образе Хулио Хуренито и во всей окружающей его атмосфере нашла своё отражение сила,

которую Ленин хорошо понимал, считая её самым страшным врагом коммунизма, хотя она сыграла определённую роль в разрушении старой России. Сила эта — мелкобуржуазная стихия, способная уничтожить, смести до самого основания элементарные основы культуры, стихия, несущая в себе великое Ничто, дыхание пустыни...

Когда говорят, что Гитлер стоял за реальные формы изображения, позвольте ответить, что это неправда. Во-первых, в официальном искусстве третьей империи было немало обычной модернистской позы. Это фальшивое восстановление реальных форм часто напоминает мюнхенскую “новую вещественность”, эта напыщенная патетика, стремление к монументальному насквозь пропитаны идеей условной лжи. Нечего говорить об Италии, где официальное положение занимали футуризм Маринетти и бутафорский неоклассицизм, вышедший из того же распада.

Во-вторых, социальная демагогия реакционных сил всегда заимствует у своего смертельного врага внешние черты. Это необходимо для привлечения толпы, “человека улицы”. Достаточно вспомнить само название гитлеровской партии. Существует множество “социализмов”, не имеющих ничего общего с действительным содержанием этого понятия. Разве из-за этого следует отказаться от социализма? Старая легенда гласит, что Христос и Антихрист похожи друг на друга. И действительно, в роковые минуты истории такие оптические иллюзии — не редкость. Но горе тому, кто не умеет отличить живое от мёртвого. Прежде всего, нужно отбросить внешние аналогии, которыми охотно пользуются враги социализма, смешивая болезни нового общества с гнойными язвами старого мира.

В-третьих, будущее рождается в муках. “Страданием учимся”, и тот, кто думает, что подвём искусства из глубокой ямы, в которой оно оказалось (по признанию многих авторитетных свидетелей разных направлений), может протекать иначе, просто очень нервный господин. Литература, конечно, более счастлива, чем живопись, хотя бы потому, что её сильное время не так далеко от нас. Традиция классического реализма в литературе ещё жива, о чём свидетельствуют по-своему и многие произведения современных западных писателей, имеющих большой успех в Советском Союзе (часто больший, чем у себя на родине)...

Тут не выдержал даже престарелый “мастодонт”, жизнь положивший на войне за принципы социалистического реализма, — Валерий Кирпотин. Прочитав Лифшица, он записывал в дневник:

“Статья, которую мог бы написать образованный хунвейбин. Матисс и Пикассо названы предшественниками Гитлера. Остаётся только найти, что Мао Цзэдун где-нибудь в юности увлекался модернистами, — и всё будет в ажуре”.

В ноябре того же года в 11-м номере журнала “Москва” печатается первая часть романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” (этот роман на долгие годы станет предметом бурных обсуждений, споров, восхвалений и проклятий). А в декабре в Белом зале Союза кинематографистов СССР состоится первая премьера фильма Андрея Тарковского “Андрей Рублёв”.

Скорее всего, Кожин увидит вторую премьеру уже перемонтированной ленты в 1969-м — выскажет крайне отрицательное отношение к этому фильму... А пока он с упоением работает над книгой “Как пишут стихи”, заказанной ему редактором издательства “Просвещение” Валентином Недзвецким. Внимательно и благожелательно вчитывается в статьи Михаила Лобанова и других авторов “Молодой гвардии”, ещё не зная, что и сам напечатается в этом журнале незадолго до ухода (далеко не добровольного) с поста главного редактора Анатолия Никонова.

(Продолжение следует)